

Владимир
Мицких

В ТОЙ СТРАНЕ, В РОДНОЙ СТОРОНЕ

НЕОКОНЧЕННОЕ ПИСЬМО

Воспоминание не изначальное, но одно из самых потаённых, никому ещё не рассказанных. Я, шестилетний, едва освоив буквы, пишу однокласснице. Имя, кажется, Наденька, Надежда. А фамилия – Бабушкина. Признаюсь ей в любви. О чём ещё писать первое в жизни письмо?

Изба у нас – в одну горницу, маленькую такую. Поднимешься по миниатюрному крылечку в сенцы, шагнёшь два шага, повернёшь вправо, распахнёшь дверь – впритык к ней по левую руку русская печь, за ней сразу кровать, стол, кажется – круглый, посреди комнаты, на матице подвешена люлька, в которой пока просторно младшему, годика не достигшему, братишке Сергею. А как остальные четверо – мама, папа, средний брат Алёша и я – умещаемся в избе, понять трудно. Но как-то умещаемся. Второй кровати не помню. Должно, мы с Лёшей спали на печи, а когда и на полу – на многие годы вперёд это станет для всех трёх братьев делом привычным.

Если от порога прямо глядеть – одно окно, по правую руку – другое. Занавесочки беленькие, ситцевые, застиранные до прозрачности. Горшочки с ванькой мокрым и геранью на подоконниках.

Мама где-то во дворе хлопочет по хозяйству. А от отца я ладошкой заслонил тетрадный листочек и вывожу строки письма своего.

Отец дописать не позволил. Может, заметил, что таюсь от него, и встревожился – почему таюсь-то? А может, двигало им простое любопытство. Он такой был – любопытный. И вот: без затей сдвинул меня вместе со стулом от края стола, сгрёб незавершенное послание со столешницы. Окинул взрослым взглядом и объявил приговор: рано такие письма писать, вырасти надо сначала. На том любовь первая и кончилась. И Надежда, значит, Бабушкина, коль жива, дай Бог ей здоровья, до сей поры о ней не знает.

В селе обретались мы недолго. Не помню, прихватили весну или нет. Лето перелетовали, осень всю пережили, а зиму – не до конца. Откочевали на окраину Усть-Каменогорска, сняв малюсенький домишко в районе станции Защита. Там у нас и корова была, Зорькой звали. Завершив первый класс, летом рвал я траву для Зорьки – клевер да берёзку, выюнок полевой. В мешке приносил ввечеру и



угощал кормилицу с руки. Вскоре снова – переезд, уже ближе к центру города, почти на берег Ульбы, в такую же, как предыдущие, избушку об одну комнату, опять же с русской спасительницей-печкой. Кормились ещё огородом. И тут не зажились – в третий класс пошёл я уже в Новой Согре, близ которой строился тогда крупнейший, говорят, во всей Европе титано-магниевый комбинат. Отсюда начался у меня городской асфальт.

Судьба вписала в книгу жизни несколько глав – медицинскую, военно-морскую, журналистско-литературную и т. д. и т. п. Но с возрастом, весьма уже основательным, неожиданно как-то открылось: душа поделила бывшее по-своему. Самое далёкое, краткое время, подаренное живой землёй, деревенской избой – на левом берегу Иртыша, в селе Новоявленка, чьё имя, недавно открывшееся случайно и неожиданно, не убереглось в сознании – на этом месте незыблемо значился колхоз «Заветы Ильича». И – детство, юность на берегу правом – в Усть-Каменогорске, за которым потянулись многие десятилетия, взятые большими и малыми городами. Теперь оба берега живут в памяти вместе и отдельно, и невозможно сказать, что для сердца дороже.

Левый берег

НАШ ВОРОНОЙ

Конь был такой густой масти, прямо антрацит. Тонконогий, прогонистый. А норовом форменный дикарь. Ему уже поспела пора ходить в хомуте, но воронок не давался.

Отца заело. День и другой не мог он подступиться к мустангу этому. Домой приходил от табуна почерневший. С порога, едва влетев в дверь, фыркал, как конь, ноздри раздувались нервно, зенки карие подвыкатывались из орбит, косили по углам избяным – на нас не глядели. Батя бестолково егозился и взрывался легко – лучше было его не трогать.

Село наше криво да косо разлеглось на левобережье Иртыша, в нескольких километрах от реки этой знаменитой. Оно нависало над глубокой рыбной протокой, суженной разновысокими берегами. Правый – пойменный, низкий – полем да лугом уходил к Иртышу. Левый, занятый подворьями и огородами, дыбился над речушкой, местами высоко, что тебе стена Китайская, возносясь над водой.

По земле, не поровну деля село надвое, проходила рваная трещина – быстро углубляющийся овраг, который плавно терялся на подступах к берегу, образуя покатую, поросшую нежнейшей муравой вымоину. Здесь мужики любили потрошить бредень, беря с закида одно-два ведра разнорыбицы.

В общем, рельеф населённого пункта был сложный, прилегающая местность – в полном смысле – пересечённая...

Отца я до конца жизни не разгадал, а тогда мне то ли шёл ещё шестой годок, то ли едва-едва шесть исполнилось. Подвиг отца – взнуздал он воронка всё-таки! – наполнил всё семейство гордостью. Но вот чего в толк взять не получается: зачем он, отец наш родной, не запряг рыпастого жеребчика для начала, допустим, в тракторные сани, а сразу приладили прокатиться на нём не иначе как в двуколке, и не где-нибудь, а непременно по центральной улице колхоза «Заветы Ильича»?

Улица эта сама с хорошим выкрутасом. На сотню-другую метров отдалившись от центра колхозной усадьбы, она упиралась в могучий амбар, раздваивалась перед ним и расходилась вправо-влево, обтекая с обеих сторон амбарную огорожу.

...Летний день отпылал. Солнце помаленьку остывало за облаками, скучковавшимися по-над окоёмом – в аккурат там, где предстояло светилу закатиться. Вечерние сквозняки покуда не колыхнули листву на плакучих ивах, но освежающая аура реки явно ощущалась в прибрежном деревенском ряду, тихо проникая дальше, к центру села.

Сыто помыкивая, роняя в пыль духовитые печати, растеклось по кривым улицам стадо, вернувшееся с пастбища. Бурёнки, завидев откиннутые родные прясла и распахнутые калитки, припускали чуть не трусцой, энергично размахивая хвостами – будто подгоняя самих себя. И вот уже ударила о ведёрное дно вода, согретая солнышком в корыте, дабы обмыть нежное вымя кормилицы, а за плетнём звякнул соседский подойник.

В этот миг и задрожала земля под копытами вороного. Роня с потной морды пену, окрашенную кровью – железный мундштук уздечки разорвал жеребцу рот, – летел он вдоль штакетников и плетней. Двуколка подпрыгивала, моталась из стороны в сторону. А в двуколке во весь рост стоял батяня. Он, собственно, и не стоял даже – висел на вожжах, лежал почти, откинув назад выгнутое в спине тело. Далеко сзади-сверху тележки мотылялась, смутно проглядываясь в пылевом вихре, отцова голова, и летели в него с глянцево-чёрного крупа коня белые хлопья... Стал бы я художником – написал бы картину «Зевс на боевой колеснице»...

Ошалевшая повозка неслась напрямик по середине улицы. Перед амбаром коняга маханул через забор, развернулся и помчался к конюшне – оглобли волочили по земле. Двуколка преграды не преодолела. При ударе о не порушенный, лишь завалившийся вперёд, полутораметровый заборище отскочили, раскатились в стороны колёса, и весь экипаж рассыпался.

Я видел полёт отца возле амбара... Дорогу до избы батя преодолевал долго. Что-то в нём ушиблось и сломалось, но, честно признаться, не помню, как он после болел и залечивал травмы. Удивительно, что насмерть не разбился.

Зато мы потом ездили на вороном. Близко и далёко, в санях и на телеге. Всей семьёй. Отец не боялся, что конь понесёт. Хотя вёл себя этот дьявол гривастый непредсказуемо, гонор показывал. Но всегда удавалось его усмирить.

Был вороной вынослив и на ноги скор и никому, кроме нас, не нужен, поскольку только отцу и позволял себя запрячь, одного его слушался. Так что остаток лета, осень и всю грядущую зиму, пока навсегда не уехали, имели мы в «Заветах Ильича» своё семейное транспортное средство.

ЯЗЫК НА ЗАМКЕ

Рядом с домом, параллельно ему, за довольно аккуратным бетонным забором стояла столовая. В просторном углу столовского двора, как раз напротив наших окон, возвышалась гора опилок. Под опилками летом сберегался лёд – его зимой специально намораживали. Куски этого льда заполняли лотки мороженщиц: во льду инджели цилиндрические – похоже, из алюминия – тубы. Продавщица ложкой скребла мороженое, наполняя им вафельный стаканчик. Стаканчик ставился на весы – я всегда удивлялся, как точно продавщица угадывала вес.

Мороженое чаще всего звалось «пломбиром». Слово это до сих пор полно для меня неразгаданности и кажется холодным и нежно-сладким. Впрочем, вафельные стаканчики мне нравятся тоже, особенно когда чуть подмянут из-за подтаявшего содержимого...

Однако я уже вперёд забежал, годика на два, когда мы въехали в казённую квартиру на первом этаже кирпичной двухэтажки на улице Усть-Каменогорской в одноимённом городе. История с замком случилась раньше, ещё в селе Ново-Явленка.

Возможно, человек бывает ребёнком для того, чтобы вкусить мороженого. Иначе чем объяснить детское пристрастие к свежему снегу? В колхозе «Заветы Ильича» я, ещё слыхом не слыхивая о мороженом, лакомился снегом. На ходу зачерпнёшь из чистого сугроба и языком слизываете снежок с варежки. Или прижмёшь на секунду к небу, а потом катаешь во рту от щеки к щеке обжигающе леденящий тающий шарик – для этого надо оголить руки и в тёплых ладонках слепить колобок...

Мир в детстве – сказка без границ, но его неизученная материальность полна опасностей.

Однажды зимой я вернулся из школы, когда в избушке нашей никого не было. Игрушечный козырёк над входной дверью и незначительное крылечечко с парой ступенек вполне соответствовали архитектурой и размерами несолидному жилищу. Мама с малышами (четырёхлетний Лёша ещё держался за юбку, а Серёжка пользовался грудничковой плацкартой – его носили на руках) заглянула, скорее всего, к соседям по какой-то хозяйственной нужде да малость загостилась. На двери висел замок, а ключа мне не давали.

Замок сверкал-серебрился почти полусантиметровой шубкой из инея: мороз стоял могучий, сибирский (кстати заметить, не припомню, чтобы в школе, какая бы ни выдалась зима, в те поры приходилось мёрзнуть). Что меня подвинуло к рискованному эксперименту, одному Боженьке известно, только, потоптавшись у крылечка, я поднялся на него, зачем-то пободал дверь плечом и вдруг, наклонившись к низко висящему замку, лизнул искрящийся иней...

Взрывная, подлая – поскольку никак, ниоткуда не мог ждать её – боль сотрясла меня: язык припаялся к металлу. И страхом, жутью, ни разу прежде еще не испытанными, окатило нелепо согнутое тело. Я дёрнулся, зажмурившись от боли, но мёртвая ледяная железка не отпустила – только во рту явственно обозначился солёный вкус крови. Слепящие калейдоскопы закружились перед глазами, шумно и тяжело сделалось в голове. Всё исчезло, пропало – вместе с блестящим полуденным солнцем зимы: остались только боль и беспомощность, безысходная глупость, вселенский позор и полное отчаяние. Жизнь кончилась.

Потемневший мир обезлюдел, вымер навсегда – так показалось в это последнее мгновение жизни. По счастью, тогдашняя деревня была очень внимательна и всегда начеку: там друг о друге без телефонов всё и все узнавали мгновенно. И, хотя изба наша стояла на отшибе, помощь пришла сравнительно скоро. Отливали меня от замка тёплой водой, спасательная операция длилась недолго... Взрослые потом продолжительно смеялись, а мне было неловко от конфуза, но весело от наступившей свободы. Рот сжигало адским огнём, распухший язык мешал дышать, не то что смеяться, и всё-таки, вслед за родителями, я давился смехом, даром что по щекам катились неостановимые слёзы...

ВОРОБУШЕК

Птицы замерзали на лету. А отец собрался в город. И меня с собой взял.

Зима не страшна у печки, но одёжка, имевшаяся у нас в наличии, не была рассчитана на дальнюю дорогу в такой мороз. Батя одолжил у кого-то медвежий тулуп. Шикарный тулуп: размеров невероятных, с рыжим, почти золотистым, с лёгкой проседью, длинным и густым мехом, он, надетый на отца, шатром покрывал кошёвку, в которую запрягли вороного. От Серка, трудолюбивого и покладистого мерина, отец отказался, предпочтя ему коня строптивного и нервного, но более выносливого, поскольку решил ехать не наезженной колеёй в обход, а напрямки, через снежную целину.

Отец прилачился на облучке, ухватив вожжи руками в толстых матерчатых, подбитых заячьим мехом рукавицах: голова с трёх сторон забрана поставленным на дыбки воротом тулупа, лицо укутано так, что остались щели для глаз и рта – из одной вырывался пар от дыхания, из другой посверкивали карие угольки. По-за спиной его, на дне кошёвки, на хорошо примятой охапке сена, укрытому полами тулупа, было мне мягко, просторно и тепло.

И – мы поехали...

Господи, надоумь происходящее не теряться во времени: чтоб каждый миг жил в памяти запахом своим и вкусом самого воздуха; всяким звуком, шорохом, шёпотом; всеми-то – до самой малой – деталями окрестного вида, который никогда и нигде более не повторится!..

Мы скатились с крутого яра – отец осаживал вороного на скользкой дороге. Перемахнули по льду застывшую протоку: тут ещё след накатан, присыпан оснеженным сенцом и помечен конскими закаменевшими кругляками – по зимнику селяне из-за речки возили запасённые с лета стожки. А дальше, едва преодолели пологий склон другого берега, пошли по нетронутому снегу рысью, торя первопуток через белое поле к далёкому, невидимому отсюда Иртышу.

Вороному, знать, дорога не шибко глянулась, и хотел он её пробежать скорее. Он ёкал селезёнкой, всхрапывал, мотал головой, ставил её как-то по-птичьи, с наклоном в бок, сильно изгибая грациозную шею свою, на которой, казалось, от злого неудовольствия поднялась дыбом быстро заиндевевшая грива. Но рысил конёк ходко, тянул кошёвку играючи, тонкими чёрными ногами взрывая мягкий, не слежавшийся снег: белые лохматые комья из-под копыт обстреливали отца и передок саней. Отец не подгонял, напротив, придерживал, туго натягивая вожжи, – экономил лошадиную силу, в уме бережливо распределив её на всю неблизкую дорогу...

Кому наскучило ехать с нами по зиме с тысяча девятьсот пятьдесят пятого на пятьдесят шестой год, уже незаметно вывалились из кошёвки и навсегда отстали вместе со своими важными интересами и неотложными делами, а терпеливому читателю пора представить Тайгу. Она увязалась следом и сперва трусила сзади, едва не наступая на полозья, а потом взялась обгонять, забегая далеко вперёд и кружа по полю.

Собака принадлежала нам недавно.

До этого были у неё другие хозяева. Бездетные муж с женой, оба глухонемые. Жили они через плетень от нас в землянке, совсем малюсенькой.

Ни их, ни наш двор замкнутой огорожи не имели. Старый плетень разделял их, местами уже завалившийся, насквозь до трескучести иссохший. Ключок

обхоженной земли соседей с трёх сторон переходил в окружающее пространство почти беспрепятственно: от крупного рогатого и прочего скота ненадёжно защищал его пунктир жиденьких невысоких прясел.

Наш домишко со стороны улицы украшал свежий плетень. Летом ездили с отцом на быках в приречные плавни за вербовым прутот, тонким и гибким, покрытым белёсой длиннопалой листвою. Привезли его на высоком скрипучем возу вроде много, но хватило лишь на передок подворья, дальше ладить плетени оказалось нечем. Отец пооткладывал дело на потом и незаметно забыл: в зиму осталась наша избушка с двух сторон открыта всякому ветру и всякому зверю. К надречной боковине её едва не вплотную подступал горб оледеневшего берегового обрыва. А торцом об одно оконце глядела она непосредственно в прииртышскую степь.

Тайга, до середины лета соседская собака без имени, рыскала по деревне, что беспризорница, а на территории наших окраинных «усадеб» вела себя незаконно. Воровала внаглую, на виду у всех, куриные яйца, порскала по овощным грядкам, давя и ломая хрупкий ряд помидоров и прочую зелень; не имея никакой причины, брехала на весь белый свет, без разбора вгоняя в страх встречных-поперечных.

Отец на пальцах потребовал от немых покончить с вредоносным созданием, уже набравшим вес, размер и вид дебилой немецкой овчарки. Откуда ей было встаться в нашей деревне, никто не ведал, но порода смущала – не дворняга задрипанная, которая, по роже видать, пустообрёх и сплошная собачья глупость. Однако вопрос откладывать уже было нельзя. Уже в курятнике и под сараем воровать стало нечего – зашуганные собакой рябушки отказались нести яйца.

Но немые воспротивились справедливому возмездию и пытались как-то внушить бате, что хулиганка, в самом деле, шибко умна, просто ей не было своевременного воспитания. Не сразу, однако ударили по рукам – отец забрал собаку себе, чтобы попробовать на предмет дрессировки.

Время для учёбы овчарка давно пережила. Знающие люди предсказывали отцу полный конфуз. Ему и самому было известно собачье племя. Но чем больше отца отговаривали, тем круче заводилась в нём пружина несогласия, вредной какой-то упёртости. В таких случаях он терял способность к поступкам логическим и, всем поперёк, из голого принципа мог встаться за самое безнадежное дело.

Он отказался от первоначального намерения посадить собаку на цепь. Словом ли, жестом каким, со стороны не заметным, он, наоборот, как будто привязал её к себе и стал называть Тайгой. Почти сразу ударение в собачьем имени перескочило с последнего слога на первый и так закрепилось, стало привычным и для нас, и для собаки: Тайга, Тайга. Странно притихшая, она ходила за отцом повсюду следом, не смея в одиночку удаляться за пределы двора. Совсем неожиданно ей было позволено зайти в избу и даже однораз поночевать у порога.

Без видимой системы, скорее – подчиняясь непредсказуемому настроению, отец устраивал овчарке непродолжительные немногословные уроки. Брал кусок мяса, подкидывал или бросал на землю – Тайге нельзя было притронуться к нему, пока не прозвучит «Апорт!» или «Возьми».

Однажды отец не кормил собаку два, может быть, даже три дня кряду.

Он вывел Тайгу на середину двора. «Рядом!» – приказал он и, выждав минуту, подал команду: «Сидеть!». Прямо перед мордой отец положил внушительный

кусок мяса. Тайга смотрела на отца снизу вверх, и с дрожащего высунутого языка её проливалась слюна. Она так сидела долго, и отец смотрел то на неё, то по сторонам, ничего не говоря. Неожиданно он сказал тихо, почти шепотом: «Фас!». Собака молниеносно схватила кусок. Но проглотить не успела – отец крикнул: «Фу, Тайга, фу!», и овчарка выплюнула добычу.

Выждав хорошую паузу, отец отвернулся. Медленно шагая к крыльцу дома, не оборачиваясь, бросил негромко: «Молодец, Тайга. Вот теперь возьми».

Он присел на крыльчке, достал сигарету (маленькие такие сигаретки были – длиной в полпальца) замундштучил, запалил и улыбнулся: «Всё!». Тайга встряхнулась, облизываясь, подошла и легла у ног...

Теперь она бегала, то удаляясь, то приближаясь, кругами вокруг кошёвки. Иногда, высовываясь из-под тулупа, я видел: Тайга, приостановившись, роет снег лапами и мордой.

Солнце поднималось над степью, уже почти достигнув своего зимнего зенита. Снег сверкал, ослепляя, но мороз не отпускал.

Я подоткнул тулуп со всех сторон и задремал. Долго ли, коротко ли сладко спалось мне в катящейся по целине кошёвке, но вдруг я проснулся, ударившись об основание облучка. Конь остановился. В таких случаях говорят – как вкопанный.

«Что такое?!» – услышал я обеспокоенный вскрик отца и откинул полу тулупа.

Было бело и пустынно вокруг. Воздух обжёг лицо. Захотелось спрятаться, но тревога и любопытство заставили выскочить на снег.

Над чёрным крупом коня курился пар. Вороной храпел и нервно переступал ногами. Прямо перед его мордой, приблизив к ней оскаленную пасть, сидела Тайга. Я не понял, что произошло. Отец, озираясь по сторонам, собаки не видел. «Что, что там такое?» – снова вскрикнул он, крепко, в натяг, держа поводья.

Тайга вскинулась на голос его, подбежала ко мне, ткнулась в живот мордой. Я невольно выставил руки навстречу. Прямо мне в ладошки овчарка выплюнула мокрый тёмный комочек.

Это был воробушек. Бедняга упал, прихваченный на лету морозом. Тайга учуяла птичку, ещё не успевшую умереть. Некоторое время она бежала следом за нами с птицей во рту. Но я спал, а отец, занятый своими мыслями, не обращал на собаку внимания. И тогда она, забежав вперёд, бросилась на воронка и остановила его.

«Слушай, папа, это воробышек! Он не шевелится, но что-то бьётся внутри». «Тпру, тпру», – отец успокоил запереминавшего ногами коня и спрыгнул наземь. «Садись в кошёвку, сынок, – сказал он мне. – Грей. Может быть, отойдёт». И повернулся к Тайге, склонился над ней. Тайга прильнула к нему, завилыла хвостом, тёмные собачьи глаза заблестели ярче искрящегося снега. «Молодец», – сказал батя и погладил её, и снова сказал: «Молодчина», и погладил снова. «Хорошая собачка, умница! А сейчас – домой. Слышишь, далеко уже. Давай домой!».

Тайга заскулила и крепче прижалась к отцу. Так они замерли ненадолго, потом отец молча забрался на облучок и тронул коня вожжём, причмокнув.

Мы поехали дальше.

Тайга, несколько раз обежав вокруг кошёвки, остановилась, проводила нас взглядом и неохотно посеменила по колее назад. Скоро я потерял её из вида.

А воробушек в самом деле ожил! Мы ещё ехали, когда он вдруг зашевелился, а потом запрыгал, насколько это было возможно под тулупом.

В городе он жил у бабушки Елизаветы Яковлевны и стал совсем ручным.

Правый берег

АЛЬВИНА И ДВЕ ЭРИКИ

Человек рождён для любви.

В пятом классе для меня и моих друзей – Валеры Куприна, Вити Яцкова-Заварзина и, кажется, Юры Меньщикова тоже – свет клином сошёлся одновременно на одной Танечке Дрягилевой. Пятый класс тогда и сейчас – большая разница. С Танечкой никто из нас, увы, даже не целовался.

Где мы теперь?.. Но любовь та, думаю, жива в каждом из нас доныне. Даже если мы о ней позабыли.

А до пятого класса, с третьего начиная, поочерёдно волновали меня три одноклассницы. Двоюродные сёстры, немочки с одинаковой фамилией – Брух. Альвина и две Эрики. Эрик, чтобы не путать, в классных журналах записывали как императриц: Брух Эрика I (первая), Брух Эрика II (вторая).

Без ложной скромности и всякого стыда (чего уж теперь...) скажу, что я им тоже нравился. Но как-то фазы не совпадали. Когда Альвина испытывала ко мне прилив чувств, я был влюблён в одну из Эрик. А Эрика эта в кого-то другого. Или ни в кого. А когда уже я начинал ей снится, мне почему-то застила свет Альвина, у которой давно «прошла любовь». И так далее, по кругу – казалось тогда и хотелось – до бесконечности.

Брух жили в Старой Согре, в добротных, хотя, по нынешним меркам, небольших частных домах, рядом друг с дружкой. Я – в Новой Согре.

Между Старой и Новой был посажен молодой парк. Тополино-кленовый, большой-большой, он тянулся обочь нового посёлка, огороженный высоким бетонным решётчатым забором. Парк украшали летний кинотеатр и – рядом – открытая круглая танцплощадка. В кинотеатре всегда был аншлаг, а танцевальная площадка почему-то работала неактивно, и вся остальная территория парка оставалась пустынной. Никто там не гулял, только мальчишки из ближайших домов играли в разведчиков. Парк жил диковатой лесной жизнью.

Параллельно парку тянулись железная дорога и шоссе. Через парк, через эту дорогу и эту шоссе я провожал в Старую Согру сестрёнок-одноклассниц. Зимой, когда рано темнело, провожания обставлялись как боевая операция. Я вооружался деревянным автоматом ППШ, который смастерил столовым ножом из неподатливой сухой доски. Нож потом долго не могли наточить, а на руках у меня сочились сукровицей кровавые мозоли. Но автомат получился классный, с круглым диском – мало у кого из пацанов хватало терпения вырезать такой без подходящего инструмента.

Пусть всему миру будет смешна моя детская любовь – я защищал своих немочек героически: бегал вокруг кругами, падал в снег и метко отстреливался от наседавших «немцев» и «белых». Сам я, разумеется, был «русским» и «красным».

Альвина и обе Эрики давно перебрались в Германию. Одна из Эрик, не ведаю, первая или вторая, вернулась в Согру. Знаю это точно, потому что всегда хотел их найти или хоть что-нибудь узнать о них. В последний приезд на родину мне передали привет от той Эрики, которая снова живёт в Казахстане. Свидеться, увы, не удалось – у родных в Согре гостил всего несколько часов. Но вновь вспомнилась последняя встреча с Брух – со старшей сестрой Альвиной.

Тогда я жил уже на противоположной окраине города, километрах в пятнадцати от обеих Согр. Как-то узнал от друзей, что Альвинка «задружила» с парнем, которого согринская пацанва считала нехорошим. Якобы он преследовал Альвинку, не давал ей прохода. И я поехал спасать её.

Дождлся после занятий у школы. Сказал, что, если уж ей непременно хочется с кем-то дружить, пусть дружит со мной, а не с этим хулиганом, который покалечит ей жизнь. Мол, буду приезжать и провожать до дома столько, сколько потребуется, пока она найдёт достойного кавалера.

Первый раз она поцеловала меня тогда. «Спасибо! – сказала. – Но дружбу не предлагают. Она или возникает сама, или её просто нет».

Она была права, Альвина Брух.

Но как было бы хорошо, если бы все со всеми могли заключить договоры о дружбе и подписать всемирную конвенцию о любви...

ЖУРАВЛЬ НА ТЯГЕ

К отцу навевывались друзья-приятели со всего Казахстана – литераторы, журналисты и прочий народ. Прочий народ обыкновенно гостил денёк-другой и, пошелестев бумагами, пошептавшись о чём-то с отцом, вечно кому-то помогавшим в безнадёжных делах, исчезал так же тихо, как появлялся. Пишущая братия задерживалась, случалось, месяцами и вела себя не то чтобы буйно, но шумно и вольно. Мастера пера появлялись неожиданно, иной раз поодиночке, иногда – компаниями, и мне с братишками выпадало тогда поздно ложиться и спать на полу на старых – только выбросить осталось – пальтишонках.

В одном таком набеге участвовали писатели из Алма-Аты Михаил Балыкин и Николай Душкин.

Николай Душкин живёт в памяти на удивление отчётливо. Большие участливые глаза, сухое вытянутое лицо его – весь он, вытянутый и сухой, как будто только что вышел из окружения, вызывал нежные, совершенно родственные чувства. У него была странная конструкция рта: когда он говорил, губы, словно стянутые бантиком, до конца не распрямлялись, и казалось, что он говорит сквозь улыбку, несколько ироничную, но не злую улыбку человека, знающего о жизни больше и понимающего людей глубже, чем он может в этом признаться. Усы его, цвета прошлогоднего сена, похожие на перевёрнутую букву «Т», были столь оригинально-неповторимы, что вполне могли сойти за особую примету.

Внешности Михаила Балыкина не помню. Рискаю сильно ошибиться, представляю его смуглолицым, большелобым, не очень высоким, не очень счастливым и как бы обращённым внутрь себя.

Николай Степанович и Михаил Данилович дали мне первый запомнившийся литературный урок, по сей день не утративший значения.

Жарким выходным добрая компания отправилась позагорать на берег Ульбы. В прибрежной тополиной роще под старым деревом с краю небольшой поляны мама с подругой тётей Машей Алдуниной растянули «скатерть-самобранку». На скатерти живописно рассыпалась немудрящая снедь, выстроились поллитровки «московской». Увертюра к застольной беседе зацепила по касательной некоторых общих знакомых и, пройдясь лёгким кругом по малозначительным, но памятным для присутствующих событиям, закончилась, как всегда, прыжком в политику.

На нас, ребяташек, в праздники и будни допускавшихся к взрослому столу, зашикали. Впрочем, довольно вяло – может быть, потому, что опасное вольнодумство старших ещё не было нам понятно. Да и говорили они хорошим эзоповским языком. Не злоупотребляли именами руководителей партии и правительства. Допустим, кого-то звали «отцом», кого-то «кукурузником» или «председателем колхоза». Звучала, к примеру, такая фраза: «А ему больше колхоза доверять нельзя, вот с колхозом он бы справился» (забегая вперёд, скажу, что через несколько десятилетий другому «вождю» хорошая часть думающего народа откажет и в этом, определив его в «прицепщики» или, самое большее, в «помощники комбайнёра»).

Такие беседы редко приводили к спорам. В вопросах политики родительская компания, как правило, демонстрировала единодушие.

Тема относилась к прерогативе мужчин: женщины перешёптывались о чём-нибудь более земном и понятном для нас, маленьких, но... менее интересном. Впрочем, интерес наш быстро истончался: в охотку поклевав с достархана, мы бежали окунуться в реке или устраивали в тополиной тени жмурки-пряталки...

Время и жизнь покажут, как много правды было в разговорах отца и его друзей-поэтов, недавних фронтовиков. Они уже предвидели, что случится с нашей землёй, с нашей страной и народом. От последствий героического освоения целины (эрозия почвы, потеря природных сельхозугодий – пастбищ и сенокосов, вырождение традиционных земледельческих территорий) до тупого ожирения самодовольной власти, которая неумеренным чванством, безнаказанной безграмотностью своей и равнодушием к чаяниям «простого» человека приведёт к компрометации идеи социализма, к духовному оскудению народа, к развалу страны.

Тогда я не знал и по малолетству не мог бы понять, чем втайне от семьи занимается отец. Но друзья были в курсе. Отец, перелопатив от корки до корки марксизм-ленинизм, пришёл к выводу, что практика социалистического строительства в СССР противоречит основам «всепобеждающего» учения. И не только предсказал гибель страны, «строящей коммунизм», но и подробно расписал сценарий её развала. В письмах не куда-нибудь, а в Центральный Комитет КПСС батя через несколько лет попытается объяснить вождям, что если они не приведут экономическое и социальное развитие Советского Союза в соответствие научным нормам, Союз обречён.

Никто из весёлой компании, отдохавшей в приульбинской тополиной роще, не ведал, что близится время, когда система, устав от надоедливых отцовских писем, решительно поставит его на место, отправив в павлодарскую колонию за «антисоветскую пропаганду»...

Всю жизнь удивляюсь, как много понимают, как точно предвосхищают грядущее лучшие умы из «простых», и как плохо доходит их мудрость до большинства народа и до «слуг» его, какая колоссальная пропасть лежит между теми, кто «внизу» и, может, не делает историю, но делает всё, и теми, кто «вверху» «руководит» ими!

Для нашей страны это стало проклятьем, наваждением, которому не видно конца...

На берегу Ульбы, кержацкой реки, берущей начало с легендарного Беловодья, не помышляющей о будущей своей заграничности, своенравно и вольно стремящейся слиться с былинным Иртышом, я был счастлив, как должно быть счастливо малоразумное дитя, присутствующее на взрослом пиру, слушающее

не вполне понятные, страшноватые и оттого притягательные разговоры больших умных дядей, среди которых не последним выглядел мой отец.

Уже несколько раз с братьями мы окунулись в прозрачные струи реки, несколько раз подсели к «столу», похрустели располовиненными, перетёртыми солью огурцами, поцапали лежащие грудкой рядом с картошкой в мундирах конфеты-подушечки... Я знал, что от политики беседа обязательно свернёт к литературе, к поэзии, но сперва родичи вместе с гостями запоют что-нибудь задушевное.

И они запели. «Там вдали за рекой...», «Дан приказ ему на Запад...» и эту, начало которой забыл, в которой есть слова: «...Помнят псы-атаманы, помнят польские паны конармейские наши клинки...». Всё-таки почти весь семейный репертуар был мне известен, и я, стесняясь подавать голос, подпевал взрослым про себя, уже не испытывая желания идти с разыгравшимися младшими братьями ни в лес, ни на реку. Это был двойной восторг – петь песни и ждать стихов. Песни вызывали переживания, способные заставить плакать, а стихи завораживали...

Распочали свежую «московскую», и дядя Коля Душкин, успокаивая взволнованное пением дыхание, поднял гранёную стопку:

– Друзья, выпьем за настоящее слово, которому некоторые здесь присутствующие стараются по мере сил послужить.

Взрослые очень торжественно чокнулись и выпили, а дядя Коля повернулся к Балыкину:

– Давай «Журавля...»! – и, уже обращаясь ко всем: – «Журавль на тяге». Басня. Мишка Балыкин помрёт, а «Журавль на тяге» будет жить!

Отцу, видать, была эта «птица» знакома. Он озирался на нас с братьями и строго велел отойти (как наивно выглядел бы сегодня этот его педагогический жест...).

Братишки без сожаления махнули к зарослям ежевики, а я обошёл тополь, под которым сидели взрослые, и забрался на толстую ветку, тотчас предательски склонившуюся едва не до земли. Все, однако, сделали вид, что ничего не заметили. А Балыкин, кажется, даже подмигнул. Или чуть прищурился, прежде чем начать чтение?

– Журавушка, куда?

– На тягу!

– Да ты бы отдохнул!

– Ах, я потом прилягу.

Так на охоту Журавля

Под вечер провожала Журавлиха.

А час спустя

Осанисто и тихо

Ввалился к Журавлихе их сосед –

Надменный Страус-сердцеед.

И благо – мужа дома нет!

Журавль между тем

Добрался до Гагары

И, захмелев от чарочки густой,

Ведёт с хозяйкой тары-бары

(она была молоденькой вдовой)...

Так, только загорит звезда,
Журавль собирается «на тягу».
А Журавлиха, как всегда:
– Да ты бы отдохнул!
– Ах, я потом прилягу.
...Весной у Журавля
Родился сын.
И неспроста
Новорожденный Журавлин
Похож на Страуса с хвоста.
Какая тут причина быть могла?
Журавль разводил крылами...
Журавль, не ищи тут корень зла,
Но не летай «на тягу» вечерами!

Они ещё что-то читали потом по очереди, но запомнилось мне только это. И запомнился разговор о поэзии, о творчестве, о том, каким должен быть поэт. Тут они, в отличие от политики, много и горячо спорили. Балыкин уверял, что все поэты, вообще писатели, делятся на три вида. На самоуверенных. На вечно в себе сомневающих. И на тех, которые способны выжать из подаренного им природой таланта максимум возможного.

Самоуверенные кричат в дело и не в дело о собственной гениальности. Это – смешно после одного только Пушкина. И часто бывает простой бравадой, на самом деле прикрывающей внутреннее сомнение. Такие значительной частью своего дарования «уходят в свисток». Вечно в себе сомневающиеся выглядят жалко, болезненно страшатся работать – и у них творческая судьба складывается не самым лучшим образом. Успешней всех удаётся себя реализовать тем, кто внешне непретенциозен, никогда не якает и не даёт себе публично высоких оценок. Но в глубине души уверен: он – Пушкин!

Мне долго казалось, что Балыкин противоречил сам себе. Теперь я думаю: он имел в виду элементарную воспитанность. То есть внутри, для себя, ты можешь быть каким угодно, лучше – если уверенным, абсолютно уверенным в своих силах. Но при этом желательна сдержанность, если можно так сказать, – внешняя незыблемость, нормальное человеческое достоинство. Может быть, пример в этом плане – Анна Ахматова. Не всем так писать – всем не получится, но вот вести себя подобающим образом – это задача.

Кто сказал: «...жизнетворчество должно быть центральной заботой художника, писательство входит сюда составной и не самой главной частью. Надо думать не о том, как писать (это дело техники), а о том, как нам жить»? Кажется, Руслан Киреев...

Отец ушёл в 2007 году. Не случилось поинтересоваться: что помнил он о давнем пикнике на берегу Ульбы? Тётя Маша навсегда осталась молодой, и навсегда нестарой осталась мама: давным-давно никто ни о чём спросить их не может. О Михаиле Балыкине многие десятилетия я ничего не знал. В конце жизни он обрелся в Караганде.

А насчёт басни дядя Коля Душкин (царство ему небесное) был прав. Жив «Журавль на тяге».

УРОКИ ДИАЛЕКТИКИ

С Олегом Шелудько мы начали вместе учиться в шестом классе, в школе номер четыре, когда она располагалась в старинном здании в парке имени Кирова. В позатом веке в нём размещалось городское училище. В своё время его окончил Александр Волков, автор книг о Волшебнике Изумрудного Города, Урфине Джюсе и других, любимых многими поколениями читателей. Александр Мелентьевич потом и преподавал в родном училище, даже был его заведующим. Но когда мы учились в «четвёрке», ровным счётом ничего об этом не знали. Теперь здесь находится областной архитектурно-этнографический музей.

Школу нашу скоро перевели в новое типовое здание минутах в десяти ходьбы от двора, в котором мы жили. Дома наши на улице, названной в память Героя Советского Союза Владимира Мызы, первые в областном центре крупнопанельные скороспелки, стояли напротив, заглядывая в окна друг другу. Спустя более полувека они, кажется, не изменились и так же надёжно хранят тепло в тесных квартирках. Рядом трамвайный парк и дорожный перекрёсток. По нему, огибая двор с двух сторон, грохочут трамваи. Ночами кажется – ездят прямо через спальни.

После восьми классов у меня было медицинское училище, а у Олега школа номер пятнадцать, необыкновенно популярная в городе. В ней готовили мастеров по ремонту радио- и телеаппаратуры. Олег, чтобы поступить, прошёл конкурс и – один из двадцати – поступил. Там случилась история, о которой я рассказываю с гордостью за Олега, но со стыдом за себя. Как бы сам поступил, окажись с ним тогда рядом, не знаю.

Друг мой Олег провожал после школы красивую девушку. А на неё какой-то школьный авторитет виды имел. Олега пару раз встретили строгие мальчишки и предъявили ультиматум. Или он оставит девушку навсегда, или... Олег не послушался.

Драться пришлось одному против двенадцати.

Потом я спросил его, хрупкого, тоненького – представить невозможно, что кого-нибудь мог хоть раз ударить, – зачем он не пытался избежать драки, силы-то несоизмеримы. Он объяснил спокойно: если бы убить хотели, всё равно бы убили, но хоть одному синяк поставить надо, а то помирать стыдно.

Отступились они, не сразу, но отступились. Олег свою красавицу встречал-привожал по-прежнему. Однако с другом – третий наш друг был, тоже из четвёртой школы, не буду имя называть, – расстался сразу и навсегда. Он, друг-то, стоял рядом, когда драка началась, но проявил благоразумие, не ввязался.

Вот для меня пожизненно безответный вопрос – как бы тогда я-то...

Помня об этой истории, потом, не однажды имея возможность спастись бегством, старался ею не пользоваться. Стыдно, страшно было представить, что бы обо мне Олег подумал.

Как-то поехали с ним в центр города. Вышли из двора, улицу надо перескочить к трамвайной остановке. Тут как раз вагон подходит. Я побежал, а Олег остался. Стоит на тротуаре, как замороженный. Трамвай мне пришлось пропустить. Сели в следующий. Я подсадовал другу – чего это он стопорнулся?

– Так машины же шли, я и пропустил. Зачем рисковать.

Приехали в центр, тут всё получилось наоборот. Я стою, он бежит через дорогу. Опять пеняю ему: что ж ты, сам же говорил, незачем перед машинами бегать.

рисковать глупо! А он вразумил: там-то, возле дома, три машины шли, за ними до дальнего перекрёстка дорога пустая – чего ж под колёса прыгать? Повремени пять секунд и иди себе спокойно. А здесь они сплошным потоком в два ряда прут – до вечера не переждёшь. Тут риск неизбежен.

Мы учились в седьмом классе, когда мои родители поднапряглись и купили радиолу. Олег пришёл с новой пластинкой – знаменитой бетховенской сонатой № 14. Мы сидели на неприбранной кровати, пластинка крутилась, и звучал Бетховен.

Толкаю друга в бок локтём раз, и другой, и третий. Вот, говорю, какая музыка, какое это чудо – Лунная соната! Правда ведь, дивная вещь, что молчишь-то... А он на самом деле молчит и даже как будто не очень доволен музыкой. Потом, когда пластинка кончилась, поставил её сначала, сел на краешек кровати и говорит:

– Да я слушаю...

Было интересно – как мы вообще смогли подружиться. О себе не хочется говорить, что, мол, болтун, но скажем так: я – человек разговорчивый. А Олег немногословен. Мы с ним в шахматы играли, иногда несколько партий подряд – он мог при этом и слова не вымолвить. Спрашиваю как-то: вот из чего дружба наша выросла? Улыбается едва приметно: дружба – как долгий разговор. Он возможен, если хотя бы один кто-то умеет слушать.

Когда мы с Олегом подружились, родители наши были много моложе, чем мы сейчас. У Олега – семья постарше. Три брата, Олег младший. У нас тоже трое братьев, я старший среди них. Все мы теперь живём далеко друг от друга, в разных городах и даже в разных странах. Олег под Москвой, за Сергиевым Посадом, в посёлке Богородском. Один брат его – в Германии, другой остался в Казахстане. И у меня похоже. Кто в Заполярье, на самом северном Севере, кто на Дальнем Востоке, только младший не покинул родины, став для нас иностранцем. Родители Олега, Андрей Николаевич и Александра Афанасьевна, навсегда остались соседями моим маме и папе, упокоившись на усть-каменогорских погостах.

Мы, стареющие дети, смотрим вслед отцам-матерям своим. Какими они видели нас, наше будущее, о каком будущем для нас мечтали? На что они положили жизнь свою? Нам и самим подступает пора осмысливать собственные труды и подводить какие-то итоги – не на ярмарку едем, с ярмарки уже.

Если вести счёт с судьбой, с прошлым своим, дорогим и невозвратным, с точки зрения, так сказать, идейно-политической, то радоваться нечему. Потерпели мы катастрофу. Но неизменным остаётся в жизни нашей то, о чём мы, может быть, и не пеклись особо, за что никогда специально как-то не боролись, о чём и не думали высоко и за что перед партией и правительством ответа непрерывно не держали. Дружбы наши, любовь наша друг к другу, к хорошим людям и ко всему, что в этом мире вечно и прекрасно. К умным книгам, к делу, конкретному делу, выпавшему на нашу земную долю, – без всяких в нём дополнительных начинков и официально предпосланных смыслов. К тому, что оставили нам в наследство былые времена – оставили именно нам, не зная ещё, какие мы будем, сможем ли оценить дары бесценные по достоинству.

Дороги наши по жизни прошли далековато одна от другой. Его пролегла через Новосибирск, Москву, Иваново. Моя – через Украину с Латвией дотянулась аж до Тихого океана. Но мы старались не потерять друг друга. Олег мог на один денёчек прилететь из Москвы в Киев. Во Владивосток наезжал не однажды. А его

новосибирские и московские адреса хорошо были известны мне. И до сих пор мы встречаемся, даже, можно сказать, не очень редко.

Наверное, об этом рассказывать не обязательно. Правда, кому оно нужно, кроме нас? Но хочется, чтобы у каждого человека был хотя бы один настоящий друг.

НЕ ЗВЕНИТ – И НЕ СЛЫХАТЬ...

Я буду долго гнать велосипед,
В глухих лугах его остановлю,
Нарву цветов и подарю букет
Той девушке, которую люблю...

Песни ещё не было. А автора стихотворения уже не было. Я узнал о нём, когда служил на Балтийском флоте. Первая его книга, которая попала мне в руки, называлась «Подорожники». Несколько недель в Лиенае я с ней не расставался – ни дома, ни на службе, на своём эскадренном миноносце «Огненный», хотя там даже открыть её времени не было.

В отпуск в семьдесят пятом, кажется, году поехал домой, больной Рубцовым.

Мама металась вокруг нас, троих сынов, как квочка вокруг цыплят, которым грозила опасность. На самом-то деле ей надо было думать о себе: она уже несколько лет носила смертельную болячку. Было время вырезать её и долго жить потом, но в семье всё шло как-то неладно. Мама, отчаянно пытаюсь вытащить нас из нужды и отвести многие беды, каждый день откладывала операцию до лучших времён. А лучшие времена никак не наступали. Великое терпение мамино было уже истрачено, жилки все вытянуты, и превратилась она в сплошной оголённый нерв, воспринимая любое прикосновение как болезненный удар.

Она верила в нас, жила нами, нашим будущим. Мы же, ещё ни на ноготок не исполнив перед родителями необъятного своего долга, демонстрировали непробиваемый мальчишеский эгоизм. Как будто сговорившись, все трое, залпом почти, пережились и начали строить свои судьбы, в которых маме досталась не заслуженная ею горькая роль – за всех болеть и отвечать безответно.

Не то чтобы мы были неблагодарные чада, но по молодой глупости своей не умели считать время. Думали – вот продвинемся по жизни, укрепнем и – начнём носить маму на руках...

Отец, и до суда относившийся к маме, мягко говоря, не очень бережно, после тюрьмы совсем потерял власть над собой и окончательно впал в тиранство. Грех великий, но хотел я, чтобы родители разошлись. Не раз говорил об этом маме, настаивал на разводе. Она не спорила. Только тихо повторяла одно и то же. «Нельзя, – повторяла она. – Не по-человечески это, не по-русски. Посмотри, как папа плох, ему ведь жизни немного осталось. Можем ли мы его бросить? Совесть замучит потом – тебе же, сынок, с этим до конца дней жить придётся».

Маме исполнилось пятьдесят – и через несколько дней её не стало. А отец, слава Богу, топотил по земле, суетился помаленьку до восьмидесяти пяти лет без нескольких месяцев. Но мы тогда об этом ещё не знали.

Был у мамы и другой аргумент, который, в отличие от первого, мне не казался убедительным. Она считала, что прокормить нас, вместе и с батей нашим непутёвым, она как-нибудь прокормит, а вот дать то, что даёт отец, не в состоянии.

Тут она оказалась права. Вслед за отцом сначала средний братишка Лёша, потом, лет на десять позже, и я стали журналистами. В конце концов мы даже получили писательские билеты. Правда, я оказался в Союзе писателей России, а Алексей – в Союзе российских писателей. Впрочем, разница между ними теперь, кажется, небольшая.

Алёша в 1975-м имел, наряду с газетным и телевизионным стажем, диплом факультета журналистики Казахского университета (первый курс – очно, остальные – заочно: «Писать там не научат, а "поплавок" я и так получу»). Я – после медучилища, фельдшерства в селе Кок-Терек под Больше-Нарымом и службы на Тихоокеанском флоте – в Киеве «выучился на офицера» и два года морячил на Балтике.

Мы ещё не завидовали младшенькому, Сергею, который оказался приспособлен к жизни лучше нас, имел склад ума технический и талант кулибинский. Мы только лампочки в патроне могли поменять, и то не без опаски, а он любой механизм перебрать-собрать изловчится, любую железяку к делу без чертежей приладит. А на природу выедем – палатки поставит, костёр разведёт, ужином всех накормит. И когда станем укладываться на ночь, укроет каждого, подоткнёт, чтоб не поддувало, снизу и сбоку, за что звали его в компании родственников и знающих друзей «мамочкой». В общем, человек земной, мужик с понятием – на все руки мастер.

Жили мы, по приезду моему в отпуск, больше на даче, кормились, главным образом, с грядок.

Через два года, когда мама умерла, дачу, до последнего гвоздика слаженную своими руками, братишки незадорого продали, чтобы рассчитаться с хроническими семейными долгами. А тем летом мама была ещё жива. И вот как-то, после трудовой недели, когда братья закончили свои городские дела, собрались мы вместе. Только мама задержалась – где-то она поддежуривала в выходные. И жён с нами почему-то не было.

С утра мы порыбалили на Иртыше, к вечеру раздули под яблоньками костёрчик меж двух кирпичей и смотрели на огонь, сторожили, когда дрова сомлеют до углей. Ушица была уже готова и, чтоб не перепрела, отодвинута на край плиты, стоявшей тут же, недалеко от костра. Чайник на плите начинал посапывать. А кусочки баранины были нанизаны на шампуры – тальниковые прутья, с которых счистили кору.

Мы ждали маму.

Отец (он после освобождения из павлодарской зоны сторожевал в дачном кооперативе) с двустоволкой и двумя большими собаками ходил кругами вокруг. Мы опять были с ним в компре и, не имея сил и желания спорить, прогнали его от себя.

О чём-то мы говорили, мечтали, делились, наверное, планами... Столько годов миновало, теперь уж не вспомнить.

Лёшка вдруг ушёл в домик и вернулся с гитарой. Сергей загорелся, потянул инструмент к себе, но брат не отдал. Сам хотел петь. И получилось у него хорошо: «Чтоб не страдала от пыли дорожной...».

Кончилась песня, и начал он хвастаться, что написал её какой-то его друг. «Ври больше, – сказал я, – это стихи Михаила Светлова». И мы сцепились. Стихотворение – я знал точно – светловское. А песни то ли не слышал, то ли забыл, что слышал.

Теперь понимаю: братишка мог быть и правым. Разве не мог какой-то его друг придумать мелодию на стихи Михаила Аркадьевича? Простая эта мысль в голову тогда не пришла. И завелись мы с места в карьер. Серёга выручил – перехватил гитару. Затянул что-то своё, и мы сперва замолчали, надутые, а потом приладились к младшему, подпели...

При таких делах не мог я не вспомнить Рубцова, его «Журавлей», «Доброго Филю», «На ночлеге»...

«Скачет ли свадьба в глуши потрясённого бора...»

«Взбегу на холм и упаду в траву...»

«Я буду скакать по холмам задремавшей Отчизны...»

Сергей слушал терпеливо, Лёшка – с возрастающим вниманием. Он, которого Олжас Сулейменов несколько лет назад назвал «надеждой русской поэзии Казахстана», понимал, какие это стихи.

Свечерело. Тени садовых деревьев растворились в тихих сумерках. Вдруг за малиновой грядой нарочито кашлянул отец. Сидел он там на кукорках, что ли, подслушивал? Похоже, так. Ну, поднялся и говорит:

– А я Рубцова видел.

Мы не поверили. Известно: батя – фантазёр великий.

– Да нет, зря вы так. Я правда видел. В Алма-Ате, в Союзе писателей. Он стихи читал. На меня сильное впечатление произвело одно стихотворение. Про лошадь. Как он с ней вечером неожиданно встретился и испугался. Какая-то жутковатая тоска в нём была и красивая мрачность, в стихотворении этом. Много раз в жизни я сам испытывал подобное.

Стихотворение такое действительно есть у Рубцова. «Вечернее происшествие»:

Мне лошадь встретила в кустах.
И вздрогнул я. А было поздно.
В любой воде таился страх,
В любом сарае сенокосном.
Зачем она в такой глуши
Явилась мне в такую пору?
Мы были две живых души,
Но не способных к разговору.
Мы были разных два лица,
Хотя имели по два глаза:
Мы жутко так, не до конца,
Переглянулись по два раза...
И я спешил, признаюсь вам,
С одною мыслью к домочадцам –
Что лучше разным существам
В местах тревожных не встречаться!

– Да, есть у Николая Рубцова такое стихотворение, – сказал я. – Ты мог его в каком-нибудь журнале прочитать.

Отец уже, хитрован, выходил из малиновых зарослей потихоньку, подкрадывался к нам, как ни в чём не бывало, вместе с собаками своими. С одной стороны

шёл какой-то необыкновенный дог, ирландский, что ли, в то время в наших краях редкость большая. Это была светлого окраса, сравнительно невысокая в холке, но поразительно смышленная, прекрасно выдрессированная и совершенно бесстрашная сука Венера. Её как-то милиционеры одалживали у отца на операцию – надо было вооруженного бандита взять. Венера маханула с разбегу в малую щель под крышей – мужик от неожиданности и страха потерял способность двигаться. И про оружие забыл – взяли его тёпленького.

Вторая была немецкая овчарка, тоже с хорошей школой собачина. У отца все собаки всегда были хорошо воспитаны, с собаками он общий язык находил, не то что с нами.

– Фу! Сидеть! – скомандовал отец собакам, заинтересовавшимся шашлыком, и они послушно сели возле и стали внимательно слушать наш разговор.

– А вот я скажу, как это было, – отец снял с плеча ружьё, присел прямо на землю, по-восточному подвернув под себя ноги калачиком. – В Союзе писателей Казахстана тогда что-то происходило, совещание какое-то, ну и в перерыве, когда народ ходил по этажам, разминался, вдруг открылась дверь с улицы. В проёме он остановился. Он был похож на святого. Лицо тонкое, без кровиночки, и нимб над головой. Совершенно отчетливо виден нимб, уж не знаю, как это получилось. Он постоял секунду, шагнул вперёд и громко сказал: «Привет! Хотите экспромт?» И, не ожидая ответа, начал читать: «Стукнул по карману – не звенит, Стукнул по другому – не слышать. В коммунизм, таинственный зенит, Полетели мысли отдыхать...» Ну, кто-то испугался, конечно, заморгал, забегал глазками, а кто-то захлопал... Он дочитал стихотворение, представился: «Николай Рубцов» и пошёл со всеми здороваться...

Это было похоже на правду. Хотя в «Элегии», одной из двух рубцовских «Элегий», никакого «коммунизма» не присутствовало:

Стукнул по карману – не звенит.
 Стукнул по другому – не слышать.
 В тихий свой, таинственный зенит
 Полетели мысли отдыхать.
 Но очнись и выйду за порог
 И пойду на ветер, на откос
 О печали пройденных дорог
 Шелестеть остатками волос.
 Память отбивается от рук,
 Молодость уходит из-под ног.
 Солнышко описывает круг,
 Жизненный отсчитывает срок.
 Стукну по карману – не звенит.
 Стукну по другому – не слышать.
 Если только буду знаменит,
 То поеду в Ялту отдыхать.

Да, никакого «коммунизма» здесь не было и в таком контексте в те годы не могло быть. Однако в третью строку стихотворения слово это вписывалось очень органично. И по мысли, по интонации, и по ритмическому строю оно выглядело

здесь несравнимо существенней, чем слова, присутствующие вместо него во всех публикациях советского времени.

Много лет я рассказывал эту историю разным людям, всё-таки сомневаясь в её достоверности. Отец был способен сочинить и не такое. Но сомнения поэтапно преодолелись.

В конце восьмидесятых – начале девяностых и я сподобился: два-три раза побывал в Алма-Ате, в доме 105 на Коммунистическом (теперь проспект носит имя Абылай хана), где располагались Союз писателей Казахстана и редакция журнала «Простор». Брата моего Алёшку знали там давно, а отца нашего ещё давнее. «Простор» печатал повести и рассказы отца, публиковал стихи брата. Так что меня там приняли хорошо, уже как бы по благу. Журнал даже поместил пару поэтических подборок, хотя я жил в России, а не в Казахстане. Впрочем, до конца восьмидесятых это не имело особого значения. Все издавались везде.

Я легко представил, как в холл Союза писателей, большой и прохладный, за торжественными колоннами которого во всякое время года стоял не то чтобы полумрак, но струился некий таинственный полусвет, входит Николай Рубцов. На улице – южное солнце, яркое, неумеренное солнце Алма-Аты. Рубцов открывает дверь, на мгновение останавливается на пороге. Лицо его, аскетическое и исполненное вдохновенности, видно, в общем-то, не очень чётко: поток света из-за спины ослепляет. На Рубцове – темя лысое, лоб высокий, сущий Николай Угодник! – шляпа, сдвинутая на затылок... Неудивительно, что отцу примерещился нибд над головой поэта. А что Рубцов бывал в бывшей казахстанской столице (теперь перенесена в Акмолу – Акмолинск, он же Целиноград, ставший Астаной, то есть, в переводе с казахского, «столицей»), что Рубцов, значит, бывал в Алма-Ате, об этом я где-то уже читал.

В 1997 году в Москве в издательстве «Эллис Лак» вышла книга «Николай Рубцов: вологодская трагедия». В книге, добросовестно составленной и подготовленной к изданию Николаем Коняевым, стихотворение «Элегия» помечено мартом 1962 года и имеет посвящение – «Брату Алику». Но главное – сноска к третьей строке «Элегии»: «В машинописном сборнике: “В коммунизм – безоблачный зенит”». Речь идёт о сборнике «Волны и скалы», отпечатанном на машинке в пяти экземплярах Борисом Тайгиным в 1962 году. Кстати, первый вариант «Элегии» написан раньше – когда Рубцов служил на флоте (в запас он ушёл в 1959-м).

На даче на окраине Усть-Каменогорска летом 1975-го ничего этого я, разумеется, не знал. И рассказ отца звучал неожиданно и интригующе, хотя и вызывал сомнения...

Уголочки уже остыли, пришлось нам снова разжигать костёр. Вскоре пришла мама. Отец, несмотря на подпитие, оставался удивительно покладистым и расположенным к мирной беседе. Мама часто улыбалась – почти безмятежно.

Вечер длился до-олго.

Наверное, это был последний счастливый вечер нашей семьи.

